

**Ко дню памяти
русского писателя,
публициста, историка
Николая Михайловича Коняева**

Нина ОРЛОВА-МАРКГРАФ

г. Москва

МОЙ НЕОБЫЧНЫЙ СПУТНИК

Вторник, чуть позднее восьми вечера. У студентов Литературного института только что закончились творческие семинары. Середина семидесятых двадцатого века. Сейчас, когда я это пишу, на дворе 2023 год, но есть нечто неизменное в страшно изменившейся с тех пор действительности: литинститутские семинары все так же проходят по вторникам. Влажные сумерки, движущиеся огоньки закуренных на улице сигарет. В живописи есть такое понятие, как обратная перспектива пространства. Далекие предметы на холсте приближены художником, они ясны и отчетливы. А линии обратной перспективы сходятся вовсе не на горизонте, а словно бы внутри зрителя. Такая обратная перспектива есть и у времени. Ее выстраивает художник-память. Близко крупно и ясно вижу я тот осенний вечер – с дождиком-ситничком. Я стою на остановке в ожидании «тройки», самой, должно быть, медленной из всех русских троек – троллейбуса номер три. На нем добирались мы в общежитие на улице Добролюбова. Остановка прямо около храма, белого, в каменном узорочье, с синими куполами. Он и в сумерках виден.

– А вы знаете, Нина, что в этом храме цирковое училище? – говорит подошедший ко мне студент. Я помню, что он из семинара Бакланова, Николай Коняев. Но мы еще с ним не общались.

– Дрессировщики собак и обезьян молитве не учают, – говорит Николай.

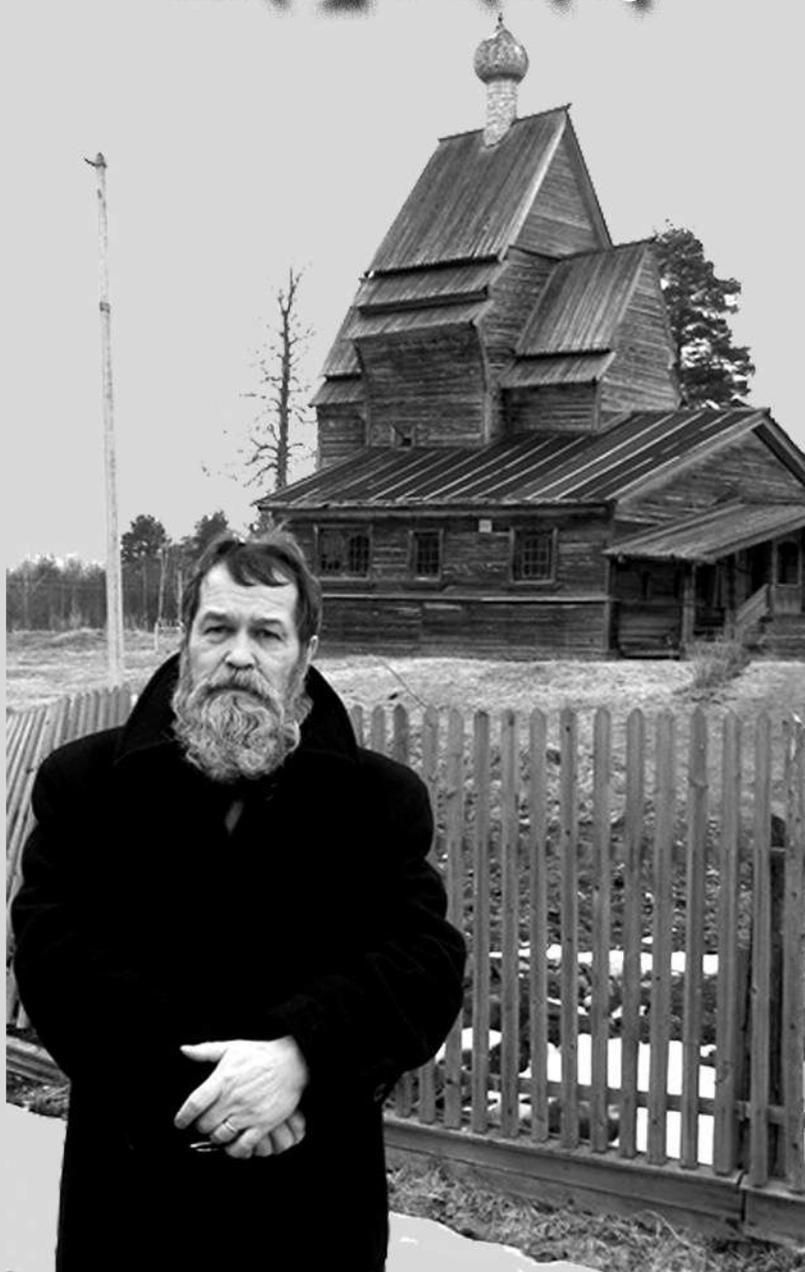
– А медведей не научают? – спрашиваю в тон, предположив, что он шутит. Но оказалось, что правда. В этом храме так непонятно, но очень красиво называемся – Рождества Богородицы в Путинках, последнем памятнике шатрового зодчества в Москве – база циркового училища. Подошел троллейбус. Мы вошли, устроились на галерке – в задней части салона.

– А хотите, Нина, я почитаю вам свои рассказы?

– Хочу. У вас рукопись с собой?

– Я наизусть помню.

И начал: «У Люси Лампочкиной заболела косичка...» Читал напевно, нарочито былинно, вдруг переходя на закликательные интонации, как у детей, рассказывающих страшилку. Я с ходу оцени-



вала эти полуфантастические миниатюры. Троллейбус притих, народ с удивлением и явным интересом вслушивался в живое артистичное чтение. Так мы и ехали. Длинный путь проходил через множество улиц, но и сейчас помню, как объявили улицу Каляевскую и мой необычный спутник тихонько произнес:

– А Каляев ведь убийца. Можно ли именем убийцы улицу называть?

В этот вечер уже в общежитии мы долго разговаривали. Николай балагурил, шутил в своей особенной манере, на ходу придумывая смешные абсурдные сюжеты. Получалось весело, невозможно было не подхватить этот тон. Разговор зашел о «бульдозерной выставке», только что прошедшей выставке неофициальных художников, власти очень тихо и изящно разогнали ее с помощью бульдозера и поливальных машин. В интервью западным журналистам организатор выставки Оскар Рабин сравнивал бульдозеры с танками в Праге как символом репрессий режима. Николай, который был на выставке, сказал, что ему не понравилась ни одна картина. И что все было жалким. И, по большому счету, не нужным. Я спорила, говорила, что выставка – смелая попытка отстоять свободу художника. Право выставляться. Я смотрела шире, но мой оппонент, видимо, глубже и, быть может, даже в самый корень, теперь мы знаем, чего стоила нам полученная в девяностых свобода – красок, слова и всего остального. В студенческом дневнике Николая Коняева всего несколько строк о выставке: «На краю пустыря огромный холст, раскрашенный радиальными, свинцовыми полосами. Когда мы проходили, подул ветер, и художник – потный и грустный еврей – с трудом пытался удержать свой холст... Это тоже была картина, и эта картина мне понравилась больше всего из увиденного». Мне в тот вечер не давал покоя его вопрос о Каляеве, и я повернула тему беседы к нему. Известно, что террорист Каляев убил московского генерал-губернатора, князя Сергея Александровича Романова. В советское время это преподносилось как героизм и борьба против угнетателей народа за свободу. От Николая я впервые узнала ту часть истории, которую тогда редко кто знал. В камеру к арестованному Каляеву на третий день после гибели великого князя пришла его супруга Елизавета Федоровна. Пришла к убийце не с упреками и проклятиями, а в надежде, что тот раскается в грехе убийства. Убийца не раскаялся. Елизавета Федоровна оставила ему Евангелие и подала государю Николаю II прошение о помиловании.

Вернувшись в свою комнату, я взялась за дневник (который решила непременно вести, по примеру великих писателей). Голова моя кипела, горела, разрывалась от впечатлений. Как много та-

инственного и тайного в нашей истории. И что такое вера в Бога, которой мы гнушались, как устаревшей вещью, побитой молью, если жена убитого мужа прощает убийцу?

С того вечера мы подружились с Николаем – как оказалось, на всю жизнь. Николаю тогда было двадцать пять лет, и он очень выделялся среди нашей студенческой поросли. Практически сложившаяся личность, остроумный, образованный собеседник и талант – это было уже видно по тем миниатюрам, что пришлось мне слушать на галерке троллейбуса. Среди студентов Литературного института за все пять лет я не встретила человека, более самозабвенно относящегося к писательству, чем он. У студентов-первокурсников тогда печатных машинок не было. Рукописи наши были именно написанными от руки, на листочках. Коняев приехал в общежитие с пишущей машинкой. Волшебный агрегат. Пока это еще старый «Ундервуд», но скоро Коля продаст ее своему приятелю Битокову и купит новую «Москву». Деньги добавит с гонорара за напечатанный рассказ. В своем дневнике он запишет: «Денег, правда, действительно нет, жизнь голодная, но это не важно – над этим можно смеяться... Машинка нужна, чтобы перепечатать рукописи, а еда? Что же все время думать о еде...» И дальше, размышляя о творчестве, высказывает весьма зрелую мысль: «Мы пропадем, растворяемся в сутолоке дел, и что удивляться тому, что остается от нас... Искусство цельно. И надо просто зажмурить глаза и всей грудью выдохнуть из себя мир с его горечью и обидой, радостью и сомнением, болью и наслаждением... Вдохнуть и выдохнуть, чтобы уже ничего не прибавить и не убавить в нём. И это и есть творчество, а не та неразборчивая суета, что остается за нами...» А учеба продолжалась, четыре дня в неделю с десяти утра, вторник – творческий день и вечерний семинар. В начале октября произошло событие, всколыхнувшее и страну, и наш институт. Умер Василий Макарович Шукшин. В коридорах общежития, где обычно суета, смех, беготня, все проникнуто печалью. Для меня, помимо всего, это была еще и смерть земляка, человека с Алтая, своего. Все знали, что Шукшин снимается в фильме по роману Шолохова «Они сражались за Родину», ждали фильма. Шукшин умер прямо на съемках от сердечного приступа. Нам, студентам Литературного, учебная часть приказала явиться для прощания с Шукшиным в Дом кино. Приказ был излишен. И так многие бы пошли. Народ, сколько народа пришло для прощания. Студент Николай Коняев тогда сказал, что название фильма – это именно про Шукшина, он всю жизнь сражался за Родину.

Только один год проучится Николай на дневном

отделении. После весенней сессии его переведут на заочное. Причина сейчас может показаться ничтожной, но не тогда. Он, полный энергии, желания что-нибудь такое затеять, подал однокурсникам идею издавать рукописный журнал. Сначала назвали «Вымя», но потом переименовали в «Нарцисс». Героем всех литературных материалов сделали Касымова, всеми любимого студента из Узбекистана. Личность живая, забавная и неординарная во всем. У нас он учился на прозе, но уже попробовал себя в кино в роли режиссера и сценариста. Касымов и сам поддержал эту идею. Выделил даже из своего архива пачку собственных фотографий, и «Нарцисс» вышел с иллюстрациями. Чего только не было в журнале: эссе, эпиграммы, интервью с доблестным Касымовым и даже роман о нем. Все это в шуточном ключе.

Коняев трудился больше всех как автор и, по сути, был главным редактором. Успех был огромный, выпустили три номера. Идеи рождались одна за другой: решено было создать касымовское движение. В общежитии было открыто два музея: дом-квартира Касымова и квартира-музей. В доме-музее были экспонаты, рассказывающие о Касымове. Была прочитана торжественная речь по случаю открытия, перерезана красная ленточка (веревка), и настоящий экскурсовод давал все справки. Пришло человек пятнадцать. После дома-музея пошли в квартиру-музей, где находились экспонаты, рассказывающие о личной жизни великого человека. Была показана постель с отогнутым одеялом и простыней, письменный стол, за которым писатель создавал шедевры, тапочки, в которых он ходил в душ, чайник, из которого пил чай, нож, которым он резал хлеб, вилка, которая прикасалась к его губам, и тому подобное. Однако для редакции «Нарцисса» этого оказалось недостаточным, и на следующий день появились цитатники изречений Касымова. Сделаны они были, как, наверное, сделаны цитатники Мао. В красной обложке. Изготовили значки Касымова, и на следующий день человек пять уже ходили со значками. Вскоре значки стали носить почти все студенты. К детской, по сути, шалости руководство института отнеслось не по-детски строго. Журнал и все касымовское движение разогнали. Выгнать самого одаренного из прозаиков студента Пименова, конечно, не стал, его перевели на заочное отделение. Но Бакланов на последнем семинаре, подводя итоги года, сказал, что самый интересный и подающий надежды студент – Николай Коняев. Это год, наверное, самый беззаботный и счастливый в студенческой жизни Николая. С грустью и особой нежностью он пишет в дневнике: «Московские ночи... Пустые, бесконечные коридоры, где тихо и осторож-

но, боясь ошибиться, ищут души друг друга... И все это было необходимо: и детская елка в пустой комнате однокурсницы, и елочные огни, поблескивающие в крутящемся диске пластинки, и несмелая улыбка, которая смывала мертвую жуть московских переулков... О эта трижды благословенная в России невозможность, когда и комнаты коммуналок вдруг превращаются в обители, а грязная и неопрятная нужда скрывается за простыми и чистыми одеждами аскезы... Денег, правда, действительно нет, жизнь в общежитии голодноватая, но это не важно – над этим можно смеяться. Нищета вообще в этой общаге не гнетет, деньги воспринимаются как нечто второстепенное».

Николай уехал в Минск, стал там как-то устраиваться. На первой же осенней сессии заочников Михаил Павлович Еремин, знаменитый пушкинист, преподаватель русской литературы XIX века и спецкурса по Пушкину, войдя в аудиторию, спросит: «Есть здесь Коняев?» И пожмет ему руку, возвращая проверенную курсовую. Я потом видела эту курсовую. На титульном листе значилось:

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
РЕЦЕНЗИЯ на контрольную работу
студента Н. КОНЯЕВА
по спецкурсу: лирика Пушкина,
на тему:
ФИЛОСОФСКИЙ СМЫСЛ
СТИХОТВОРЕНИЯ ПУШКИНА «АНЧАР».

ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАБОТЕ: Отличная работа. Главная ее мысль об Анчаре как воплощении мирового зла развита автором вполне самостоятельно и убедительно.

...Выглядел Николай в эту первую заочную сессию каким-то смурным, покинутым, мятущимся. Выпив, устраивал целое, как теперь бы сказали, шоу: пел, читал стихи, чудачил всячески, а в конце всегда читал по-немецки «Майн брудер ист айн тракторист...». (Этот дикий стишок учили в советское время в школе на уроке немецкого языка.) Из Минска писал такие же мятущиеся письма. Но из писем же было ясно, что писать не бросал ни на один день. И вдруг привозит в следующий приезд роман «Заводское поле». Я прочту его практически за ночь и пойму, что передо мной совершенно оригинальное литературное произведение, где реальности заводского быта и рабочих завода переплетаются с фантастическими, главная из которых – Помойная баба, женщина, вокруг жилищ которой всегда вырастает помойка, а на заводском поле бесчинствуют коты-мутанты, и все это написано посреди семидеся-

тых годов. Ну это, как теперь говорят, просто взрыв мозга. Помню, так впечатлилась, что тут же написала стихи и принесла автору романа. А Николай в этот день в своем дневнике записал: «Рассказываю Нине Маркграф о своем романе про завод, пересказываю главы, читаю наброски. Она потрясена. Наутро приносит мне стихотворение». У меня не сохранилось стихотворение, но помню, что в нем коты-мутанты и Помойная баба тоже были главными персонажами. Через много лет мы сидели с Николаем и Мариной, его женой, в их питерской квартире, и он показал мне листочек с этими стихами.

Всю жизнь Николай был для меня особым, близким человеком. Не сосчитать, сколько раз приезжала в дом Коняевых, гостеприимный, уютный и веселый, в разные годы, эпохи и в разные времена года, чтобы повидаться, вместе пройтись по Питеру зимнему, Питеру белых ночей. Поговорить о жизни, литературе и о судьбах России, как водится. Бывало, летом ездили в Комарово. Коняевы жили на писательской даче, рядом с дачей, табличка на которой извещала, что в шестидесятые годы в ней жила Ахматова. Как известно, Анна Ахматова называла дачу «будкой». Но в этих небольших дачках было все, что нужно для жизни, – стол, окно и небольшая кухня, чтобы что-то приготовить. И тишина, и сосны комаровские.

Мы ездили на велосипедах на Шукино озеро купаться. Николай был отличным пловцом, щукой просто. А в Москве ходили на Химкинское водохранилище, на пристань «Захарково», неподалеку от которого я в те годы жила. В разговорах наших всегда было много цитат из русских поэтов. Чаще всего Николай повторял любимые строки из Тютчева, Блока, Ахматовой и земляка своего, Николая Рубцова, биографию которого кропотливо изучал. Книга его о Николае Рубцове, смею сказать, – лучшая, что я читала об этом поэте. Мне кажется, из всех литературных жанров Николай больше всего любил поэзию и знал многое на память.

Писательская судьба Коняева в целом складывалась успешно, выходили книги, авторитетная критика реагировала на них. Но произведения, с которыми Николай связывал так много надежд, «Заводское поле», «Пригород», «Гавдарея», не были изданы. Поэт Петр Кошель познакомил Николая с известнейшим литературоведом, литературным критиком и публицистом В.В.Кожинным, тот высоко оценил «Заводское поле» и пытался помочь с изданием, но не получилось. Николай это тяжело переживал. За его внешним спокойствием и балагурством иногда угадывалась бездна безысходности.

Среди множества определений времени известно и такое: время – это вынашивание перемен. К концу

восьмидесятых годов ощущение, что наше время беременно огромными переменами, было у каждого. И все мы торопили его, ожидая прекрасного богатыря, когда, наконец, он вышибет дно и выйдет вон. Девяностые. Достаточно одного этого слова. Вместо богатыря время выкинуло чудовище, убившее и расчленившее страну, умучившее массу людей внезапной безработицей, разрушением всех норм морали, сложившегося порядка жизни. Кажется, в эти бедственные времена Николай Коняев впервые за всю жизнь не смог зарабатывать литературным трудом. Но писать-то он продолжал. Одним из лучших произведений, отразивших это время, я считаю дневниковые записи Николая Коняева, вышедшие уже в двухтысячных годах под названием «Застигнутые ночью». Почти каждый день он делал записи об этих днях. Теперь это, как говорится, ценнейший документ эпохи, как и рассказы, собранные им в сборник «Охота в старых кварталах». Знаком страшного, надвинувшегося на нас лихолетья отмечена каждая страница этой книги. Но главное, что это великолепные, мастерские, в самом истинном смысле слова художественные рассказы.

В середине девяностых годов происходит самое значительное событие в жизни Николая Коняева – он приходит к вере и воцерковляется. Как, через какие терзания, сомненья, раздумья пришел он ко Христу, тайный путь души известен только ему. Скажу лишь, что в это время происходят два события, несомненно, повлиявшие на это. Первое – это общение, встречи, беседы, происходившие в 1994 году с митрополитом Ленинградским и Ладожским Иоанном (Снычевым), который предложил Николаю создать и возглавить Союз православных писателей (по тому времени, дело по-настоящему нужное). Впоследствии Николай напишет о митрополите Иоанне книгу «Облеченный в оружие света». Второе событие – поездка в Оптину пустынь, где он провел почти неделю. Воцерковление Николая внутренне сильно изменило его. Меня, помню, поразил его первый маленький подвиг ради Христа. Коняев всю жизнь курил крепчайшие папиросы или сигареты и вот бросил курить чуть не в одночасье. На мое несказанное удивление ответил просто: а как подходить к Причастию? С верой пришло к Николаю новое понимание, что такое творчество. В одном из интервью он сказал: «Писатель – соратник Бога, тот, кто раскрывает Божьи замыслы». Эти замыслы все больше открывал он через историю России. «Почему я начал заниматься историей? – говорит он в одном из своих интервью. – Потому что когда я писал какие-то книги, например, писал про Ермака, мне необходимо было получить сведения, которые я не мог найти в исторических сочинениях. Приходилось

заниматься научной работой, архивной работой (это уже к тому, что касается XX века). Историком я стал поневоле. А потом уже начинаешь понимать красоту этого дела. Да, красота исторического процесса открывалась постепенно. И постепенно приходило понимание, что ничего лучше, ничего гармоничнее, чем наша история, ничего целомудреннее, чище и глубже придумать невозможно». Николай всю жизнь жил литературой и для литературы. Неостановимо, всегда и везде шла работа, вдруг доставался из кармана блокнотик и делалась какая-то записка. Велик объем написанного Николаем Коняевым – произведений художественных, исторических, биографических, публицистических. И сейчас, когда уже нет его в земной жизни, его литературное наследие осваивается, издается ранее неизданное. Например, только что вышла впервые биографическая книга о писателе Федоре Абрамове.

Последний раз Николай позвонил мне в июле 2018 года, как оказалось, за полтора месяца до смерти. Голос бодрый, веселый, задиристый чуть-чуть. Балагурил. Он приехал в Москву всего на сутки сниматься в телепередаче и звал встретиться после записи, выпить где-нибудь водочки. «Выпить водочки» – сюда входило многое, большая культурная программа на день и прогулка по любимым местам, закусить и выпить, конечно, тоже, потом отправиться вместе на Ленинградский вокзал и уж там в вагоне проститься. Сценарий многих лет. Хорошие встречи. Из обыденного сегодня нас переносило в счастливый мир студенческого бытия: остроумные шутки, придумки всякие, смех, споры, воспоминания, разговоры о литературе, и о

судьбах России, конечно. В этот раз наметили: сходим на выставку Верещагина, потом посидим тут же на набережной Москвы-реки, а как станет прохладней, пойдем на Ордынку. Но появились обстоятельства, непроходимая гора, оставившая меня дома. Я часто думаю, пытаюсь найти тайный смысл, зачем Господь не пустил меня на эту встречу, которая должна была стать последней? Перед отъездом Николай позвонил:

– Один на Верещагина ходил. Продинамила ты меня, Нина.

– Я смерть свою продинамила. Лежу вот, но живехонька.

– Да, Нина, динамистка ты.

– И ты, Коля, динамь ее. Как можно дольше.

Бодрый голос, как обычно, мешок смешков от Коняева, ощущение, что у нас много впереди времени, полно встреч. А ему оставалось... В конце лета Николай внезапно попал в больницу. 16 сентября отошел ко Господу. Чувство вины. Чувство сиротства. Нерасторжимое расторгается, когда теряешь друзей.

– Мама, он домой ушел, а ты так отчаиваешься, – наставляет меня старшая дочь.

«На кладбище Александро-Невской лавры похоронили! Да это почище нобелевки будет», – в эйфории пишет мне однокурсник.

– Блаженны плачущие, ибо они утешатся, – говорит подруга.

Аминь.

□

Нина Густавовна ОРЛОВА-МАРКГРАФ –

прозаик, поэт, переводчик.

Родилась на Алтае, в селе Андронове.

*Окончила Камышинское медицинское училище
и Литературный институт им. А. М. Горького.*

*Печаталась в журналах «Москва», «Юность»,
«Нева», «Алтай» и др.*

*Лауреат премии им. Святого благоверного князя Александра Невского,
а также Международного конкурса имени Сергея Михалкова
за сборник рассказов «Хочешь жить, Викентий?».*

Живёт в Москве.

